

**В клубе «Только стихия, только поэзия»
10 июля 2013 года.
Собрались в 419-ый раз!!!**



Темой этой встречи была Вера Инбер



Виктор Мирочник прочитал о ней и её стихи.
Вера Инбер (10.7.1890 – 13.11.1972)
День её рождения – в день нашей встрчки

РОДОВОЕ ПРОКЛЯТИЕ ВЕРЫ ИНБЕР

Салонная поэтесса, ставшая литературной комиссаршей

Валентин ДОМИЛЬ, Акко

Салонная поэтесса, ставшая литературной комиссаршей

В “Повести о Ходже Насреддине” Леонида Соловьева некий визирь думает, как бы ему половчее отправить на тот свет гадальщика. Под личиной гадальщика скрывается герой повествования. И после недолгих раздумий царедворец решает приписать неуголному провидцу родство с опасным мятежником Ярматом-Мамышоглы.

- “Родство с Ярматом - вот ловушка, из которой гадальщик не выскочит! - рассуждает визирь. - Пусть-ка попробует доказать, что дед мятежника не был его дедом; если бы даже покойная бабушка гадальщика сама поднялась из могилы, чтобы с негодованием отвергнуть такой поклеп...”

Было это в Коканде, в стародавние средневековые времена.

Положение родственников, тех, кого при Сталине именовали врагами народа, мало чем отличалось от статуса родственников мятежника Ярмата-Мамышоглы.

Так, почти все близкие главного врага народа в целом и товарища Сталина, в частности Льва Троцкого, были уничтожены.

Горькая чаша сия миновала лишь одного человека - двоюродную сестру Льва Давыдовича, известную поэтессу Веру Инбер.

* * *

Вера Инбер родилась 10 июля 1890 года в Одессе.

Её отец Моисей Шпенцер был человеком довольно состоятельным, владельцем специализирующегося на выпуске научной литературы издательства.

Мать Ирма, в девичестве Бронштейн, руководила еврейским училищем для

девочек. Ещё она обучала подрастающее поколение русскому языку. Ирма Бронштейн была родной сестрой Давида Бронштейна, отца Льва Троцкого.

После окончания гимназии Вера Шпенцер поступила на историко-филологический факультет Высших женских курсов.

Довольно скоро она вышла замуж за журналиста Натана Инбера. И уехала из России.

Писать стихи Вера Инбер начала в гимназии. Позднее она вспоминала:

“В 15 лет я писала: Упьемтесь же этой единственной жизнью, Потому что она коротка. Дальше призывала к роковым переживаниям, буйным пирам и наслаждениям, так что мои родители даже встревожились”.

Куда как лихо для подростка из приличной еврейской семьи.

В 1912 году увидела свет первая книга стихов Веры Инбер “Печальное вино”. Её похвалил Блок.

Книга произвела впечатление на Илью Эренбурга.

В стихах Инбер, утверждал Эренбург, “забавно сочетались очаровательный парижский гамен (уличный мальчишка, сорванец - фр.) и приторно жеманная провинциальная барышня”.

Критик Иванов-Разумник в статье с претенциозным названием “Жеманницы” поставил книгу Веры Инбер “Печальное вино” в один ряд с книгой Анны Ахматовой “Четки”.

Другой рецензент с этим не согласился. Отдавая должное поэтическим достоинствам книги Веры Инбер, он заметил, что она, как и многие другие поэтессы того времени, всего лишь пыталась подражать Ахматовой, “не достигая, впрочем, присущих Ахматовой подлинности и глубины”.

В 1914 году, перед самым началом войны, Вера Инбер с мужем и родившейся в Париже двухлетней дочерью Жанной покинули Европу и

вернулись домой, в Одессу.

В Одессе Вера Инбер продолжала писать стихи. И публиковала их в местных газетах. Ещё она выступала на поэтических вечерах.

Её иронические изящные, слегка вычурные стихи пользовались успехом.

Вера Инбер считала себя знатоком моды и претендовала на роль её законодательницы. Она делилась своими соображениями в статьях и выступала с лекциями. Инбер объясняла одесским женщинам, что такое модная одежда. Одесские женщины были в восторге от “парижской штучки”. Они наконец поняли, как нужно одеваться по последней европейской моде. И раздеваться тоже.

Октябрьские события вынудили людей состоятельных и известных бежать из Москвы и Петербурга в Одессу.

В их числе были писатели Бунин, Волошин, Алданов, Алексей Толстой.

Это оживило литературную жизнь города. Сделало её более насыщенной.

С конца 1917 года и до января 1920 в Одессе функционировало некое литературное объединение. В просторечье “литературка”. В руководство “литературки” входил муж Веры Натан Инбер.

Поэт А.Бикс вспоминал: “Дом Инберов был своего рода филиалом “Литературки”. И там всегда бывали Толстые, Волошин и другие приезжие гости. Там царила Вера Инбер, которая читала за ужином свои очень женственные стихи”.

* * *

В “Окайнных днях” Бунина, в записи, датированной 1 января (по старому стилю) 1918 года, вскользь упоминается Вера Инбер. В контексте довольно известной эпиграммы:

“Вчера был на собрании “Среды” (литературное объединение - В.Д.). Много было “молодых”. Маяковский, державшийся, в общем, довольно пристойно,

хотя все время с какой-то хамской независимостью, щеголявший стоеросовой прямою суждений, был в мягкой рубаше без галстука и почему-то с поднятым воротником пиджака, как ходят плохо бритые личности, живущие в скверных номерах, по утрам в нужник. Читали Эренбург, Вера Инбер. Саша Койранский сказал про них:

« Завывает Эренбург,
Жадно ловит Инбер клич его, -
Ни Москва, ни Петербург
Не заменят им Бердичева»
Эпиграмма с ощутимым душком.

Существует далеко не абсолютное, скорее ироническое утверждение. Мол, люди в большинстве своём делятся на семитов, антисемитов и евреев-антисемитов. Александр Койранский, он же Койре, в справочных изданиях его именуют французским философом российского происхождения, был евреем, сыном купца 1-й гильдии, державшем писчебумажную лавку в Москве. Не исключено, что к написанию эпиграммы Койранского подвинули какие-то другие ассоциации.

Но что сказано, то сказано.

* * *

Начало 20-х годов Вера Инбер провела в Одессе.

Она долго не могла определиться. Ещё на что-то надеялась. Но страшные реалии тех дней не давали повода для оптимизма.

Всё решила поездка в Константинополь.

Уезжала она вместе с мужем. Вернулась одна.

Натан Инбер решил не возвращаться. В пресловутой новой жизни он не видел для себя ничего хорошего. Какое-то время Натан жил во Франции. Затем его следы затерялись.

В 1922 году Вера Инбер приехала в Москву. Здесь ей было на кого опереться. Двоюродный брат Веры Инбер Лев Троцкий считался вторым человеком в стране после Ленина. И она могла рассчитывать на содействие.

* * *

Лев Давыдович Троцкий относился к своей еврейской родне без особого пиетета.

Его отец Давид Бронштейн с трудом добрался в Кремль, чтобы пожаловаться сыну на крестьян, которые его ограбили. Мол, это никакая не революция, это откровенный грабёж. И ничего больше.

Троцкий ответил папе, что всё, что с ним произошло, ни в коей мере не противоречит политике партии. Более того, соответствует ей. Обездоленные крестьяне имеют право.

Впрочем, он не оставил отца в беде. Около года Давид Бронштейн управлял государственной мельницей в ближнем Подмоскowie. Где и умер от тифа весной 1922 года.

* * *

Во время учебы в Одесском реальном училище Троцкий бывал в доме своей тётки Ирмы.

Время от времени жил там. И хорошо знал кузину Веру.

Семейного ужина в связи с приездом свалившейся на голову одесской родственницы, скорее всего, не было.

Но на приём к брату Вера Инбер попала. Накопились связанные с приездом вопросы. И их нужно было как-то решать.

Посещению второго лица в государстве Инбер посвятила стихи. Сдержанный восторг. И ничего личного.

“При свете ламп - зеленом свете -

Обычно на исходе дня,

В шестиколонном кабинете
Вы принимаете меня.
Затянут пол сукном червонным,
И, точно пушки на скале,
Четыре грозных телефона
Блестят на письменном столе...
И наклонившись над декретом,
И лоб рукою затеня,
Вы забываете об этом,
Как будто не было меня”.

У Веры Инбер часто спрашивали, не родная ли она сестра Троцкого.

И она кокетливо отвечала:

- К сожалению, только двоюродная.

* * *

В 1924 году Вера Инбер в очередной раз покинула Россию.

Попеременно она жила в Париже, Берлине, Брюсселе.

Инбер то ли числилась корреспондентом какого-то печатного издания, то ли просто посылала статьи о зарубежном житье-бытье в московские газеты.

К отъезду Веру Инбер, как утверждают, подтолкнуло пошатнувшееся положение Льва Троцкого. И возможные осложнения, которые могли за этим последовать.

Скорее всего, она надеялась, что всё как-то утрясется, и Лев Давыдович вернет себе утраченные позиции. Не утряслось.

Тем не менее в 1926 году Вера Инбер оставила безопасную Европу и вернулась в Москву. Где всё было и чревато, и непредсказуемо.

Судя по всему, далось ей это нелегко.

Вера Инбер писала:

“Уж своею Францию не зову в тоске.
Выхожу на станцию в ситцевом платке.
Фонари янтарные режут синеву.
Поезда товарные тянутся в Москву...”

* * *

В 20-е годы в Москве, равно как и в провинции, подвизалось довольно много разного рода литературных групп. Писатели группировались в силу общих творческих позиций. В группе было намного легче, чем в одиночку, проявить себя.

Вера Инбер примкнула к конструктивистам.

То ли ей приглянулась декларируемая конструктивистами необходимость активного участия “в организационном натиске рабочего класса”. Их близкие ей, в чем-то новаторские методы. То ли на неё произвел впечатление лидер конструктивистов поэт Илья Сельвинский.

Дочь Ильи Сельвинского Татьяна в своих воспоминаниях писала, что отца и Веру Инбер связывали многолетние любовные отношения.

В группу конструктивистов, на разных этапах ее существования входили известные поэты: Владимир Луговской, Эдуард Багрицкий, Николай Ушаков, Николай Адуев, Борис Агапов и некоторые другие.

Сам Маяковский, по утверждению главного идеолога направления критика Корнелия Зелинского, хотел было объединить ЛЕФ с конструктивистами.

“В каждой литературной группе, - якобы полушутливо заметил Маяковский, - должна существовать дама, которая разливает чай. У нас разливает чай Лиля Юрьевна Брик. У вас разливает чай Вера Михайловна Инбер. В конце концов, они это могут делать по очереди. Важно, кому разливать чай. Во всём остальном мы с вами договоримся”.

Из этого ничего не вышло.

Возможно, помешала амбициозность лидеров - Маяковского и Сельвинского.

Возможно, дамы - Лиля Брик и Вера Инбер - не желали уступать друг другу первенства при проведении пресловутой чайной церемонии.

* * *

Как кто-то справедливо заметил: первые двадцать с небольшим лет Вера Инбер жила. Остальные годы - выживала.

Довлело декадентское прошлое. Абсолютно неприемлемые для советского поэта строки типа: “У маленького Джонни горячие ладони. И губы, как миндаль...”. Мешало “мелкобуржуазное” происхождение. Но наибольшие опасения вызывало родовое проклятие со смертельно опасным названием “троцкизм”.

В “троцкисты” зачисляли всех почем зря, по делу и без дела. Со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Что же до близких родственников Троцкого, то их это касалось в первую очередь.

И Вера Инбер, кузина “возмутителя спокойствия”, имела все основания для беспокойства.

* * *

Вера Инбер старалась выглядеть в глазах литературного начальства, и не только его, благонамеренным советским писателем. И в смысле творчества, и в смысле гражданской позиции.

В её положении это был, пожалуй, единственный выход. Спасительная соломинка.

В 1933 году она приняла участие в организованной НКВД поездке писателей на прокладываемый заключенными Беломорско-Балтийский канал. И опубликовала полную неподдельного восторга статью о тамошнем быте. Не

она одна, конечно. И тем не менее...

Бытует точка зрения, будто Вера Инбер донесла на поэта Павла Васильева. Доносу был дан ход. И Павла Васильева расстреляли.

Это ни в коей мере не соответствует действительности.

Талантливый поэт Васильев был человеком вздорным. За пьяные выходки его многократно задерживали и время от времени помещали в тюрьму. Правда, ненадолго.

Ещё он был патологическим антисемитом. И не скрывал этого.

Васильев оскорбил Веру Инбер, и та, судя по всему, пожаловалась.

А вот арестовали Павла Васильева, произошло это 3 марта 1937 года, по другому, никак не связанному с Верой Инбер поводу.

Его вместе с рядом других “поэтов-деревенщиков” обвинили в создании террористической группы. И после недолгого разбирательства приговорили к расстрелу.

Павла Васильева многие считают одним из наиболее ярких выразителей русской национальной идеи. А какая русская национальная идея без зловредных евреев?

* * *

В годы Большого террора в стране была объявлена беспрецедентная охота на троцкистов.

Веру Инбер не тронули.

Более того. Существует легенда, будто в 1939 году, просматривая список представленных к награде писателей, Сталин спросил:

- А почему в списке нет товарища Веры Инбер? Разве она плохой поэт? И не заслуживает ордена?

Сталину ответили, что Вера Инбер - поэт действительно хороший. Но она двоюродная сестра Троцкого. И это не позволяет.

- И все-таки я думаю, - якобы сказал Сталин, - мы должны наградить товарища Веру Инбер. Она никак не связана со своим братом - врагом народа. И стоит на правильной позиции. И в жизни, и в творчестве. И наградили. Вручили орден "Знак Почёта".

В предвоенные годы орденосцев, писателей в том числе, было не слишком много.

И орден на писательской груди выделял обладателя из числа прочих. Свидетельствовал о его высоком статусе как среди писателей, так и в обществе.

* * *

Во время войны Вера Инбер оказалась в осажденном Ленинграде. Её второго мужа Илью Страшуна (Илья Давыдович Страшун, ученый-гигиенист, историк медицины и организатор здравоохранения, академик АМН СССР) назначили директором 1-го Ленинградского медицинского института, и Вера Инбер поехала вслед за ним.

В Ленинграде Инбер причислили к оперативной писательской группе Балтфлота.

Всё увиденное в окруженном немцами городе Вера Инбер отразила в своем блокадном дневнике. Она озаглавила его "Почти три года". И опубликовала в журнале "Знамя".

Ещё Инбер написала поэму "Пулковский меридиан". За эту поэму ей была присуждена Сталинская премия.

* * *

Творческий багаж Веры Инбер и обширен, и разнообразен. Сборники стихов, поэмы, проза, в том числе несколько книг воспоминаний, очерки, переводы.

Всё написанное Верой Инбер в зрелые годы было непохоже на то, что она писала в молодости. Творения Инбер полностью соответствовали духу

времени и канонам социалистического реализма. Но были напрочь лишены присущей ей когда-то искренности. Из стихов, как сказал один литературовед, “исчезла душа”.

Немецкий славист Вольфганг Казак в своем “Лексиконе” писал о том же: “Инбер начинала как одаренная поэтесса, но растеряла свой талант в попытках приспособиться к системе. Ее безыскусно рифмованные стихи порождены рассудком, а не сердцем: ее стихи о Пушкине, Ленине и Сталине носят повествовательный характер. Отличительными особенностями поэм Инбер, посвященных актуальным темам советской действительности, являются однообразие, растянутость; они далеко не оригинальны”.

* * *

Власть ценила Веру Инбер. Её избрали в правление Союза писателей СССР. Назначили председателем секции поэзии. Ввели в редколлегию журнала “Знамя”. От неё многое зависело. И она не преминула этим воспользоваться. В том, что случилось с Павлом Васильевым, вины Веры Инбер нет. В отличие от другого талантливого поэта - Леонида Мартынова.

В начале 30-х годов Мартынов был обвинен в заговоре. Будто он, с группой сообщников, добивался отделения от России Сибири.

Мартынова судили. Довольно долго он находился в заключении. После освобождения в 1946 году выпустил в Омске книгу стихов “Эрцинский лес”. Книга Мартынова пришлась Вере Инбер не по нраву. Она усмотрела в ней выпады против строя.

И опубликовала в “Литературной газете” погромную статью “Нам с вами не по пути, Мартынов!”

Статья возымела действие. Тираж книги был уничтожен. А самого Мартынова надолго отлучили от журналов и издательств.

В конце октября 1958 года состоялся литературный суд над поэтом Борисом

Пастернаком.

Вызвавшая неудовольствие властей книга Пастернака “Доктор Живаго” вышла за рубежом.

На Бориса Пастернака ополчились многие. Вера Инбер была в их числе. Более того, она вела себя непримиримо. Настаивала на решительных санкциях. И, как говорят, в процессе обсуждения “подавала с места злобные выкрики”.

* * *

И в молодости Вера Инбер, при всей её, как бы сейчас сказали, гламурности, была девушкой с характером.

Пародист Александр Архангельский обыграл эти внешне противоречивые качества поэтессы в эпиграмме: “У Инбер - детское сопрано, уютный жест. Но эта хрупкая Диана и тигра съест”.

Став литературным начальством, Вера Инбер стала давить окружающих своим авторитетом. Поучала по делу и без дела. И, как выразился Евгений Евтушенко, изображала из себя “литературную комиссаршу”.

“Она, - вспоминал Евгений Евтушенко, - приходила в литературное объединение, где я занимался, и донимала всех едкими замечаниями и нотациями, выдержанными в духе догматического начетничества. В Инбер было что-то от болонки: маленькая, с забавным взбитым коком, спичечными ножками, с каким-то нелепым шарфиком на тонкой шейке, она ворчливо излагала невероятно ортодоксальные вещи и была воплощением лояльности”.

* * *

Со слов Корнея Чуковского садовник, работавший на даче Инбер в Переделкино, говорил ему:

“Сам Верынбер - хороший мужик. Душевный. Но жена у него... не дай Боже!”

Простоватый садовник объединил имя и фамилию поэтессы в одно целое. И распространил на всю семью.

Самому Верынберу, академику Илье Страшуну, было нелегко с самонадеянной и требовательной женой. То ли по совету врача, то ли исходя из каких-то своих соображений, Вера Инбер посадила мужа на строгую диету и требовала, чтобы он придерживался её неукоснительно. Илья Страшун понимал необходимость каких-то ограничений. Возраст, болезни и всё такое. Но, судя по всему, надолго его не хватало. Он начинал бунтовать и требовал расширения рациона. Вера Инбер в корне пресекала бунт. И всё возвращалось на круги своя.

* * *

Вера Инбер умерла 11 ноября 1972 года, пережив близких - мужа и дочь. В дневнике она грустно сетовала:

“Бог меня жестоко наказал. Пропорхала молодость, улетучилась зрелость, она прошла безмятежно, путешествовала, любила, меня любили, встречи были вишнево-сиреневые, горячие, как крымское солнце. Старость надвинулась беспощадная, ужасающе-скрипучая...”

По прошествии времени, когда-то всенародно известную поэтессу Веру Инбер забыли.

Если что и осталось в памяти, так это многократно цитируемый, по случаю и без случая, посвященный Вере Инбер двусмысленный стишок Маяковского:

“Ах, у Инбер! Ах, у Инбер!

Что за глазки, что за лоб!

Все глядел бы, все глядел бы,

Любовался на неё б!”

Да ещё песня о девушке из Нагасаки на слова поэтессы:

“У ней такая маленькая грудь!

А губы у ней алые, как маки.
Уходит капитан в далёкий путь,
Оставив девушку из Нагасаки”.
Любители шансона уже много лет поют её, не задумываясь над тем, кто автор этих душещипательных строк.

* * *

Близкое родство с Троцким, родовое проклятие Веры Инбер заставило ее перечеркнуть прошлую жизнь. Отказаться от всего, чем она жила раньше. Это ничего не гарантировало, но оставляло надежду.
Одно дело - салонная поэтесса, другое - стойкий борец, бескомпромиссная литературная комиссарша.

С годами Вера Инбер свыклась с этим настолько, что уже не могла, а, возможно, и не хотела выйти из образа.

“Пока под красных песнопений звуки
Мы не забыли вальсов голубых,
Пока не загубели наши руки, целуйте их”.

Так когда-то писала Вера Инбер. Очевидно, предчувствуя всё, что с ней произойдёт в дальнейшем.

Печальная история. И счастливая вместе с тем. Судьба двоюродной сестры Троцкого могла сложиться куда как хуже.

* * *

Всему под звездами готов
Его черед.
И время таянья снегов
Придет.
И тучи мая на гранит

Прольет печаль.
И лунный луч осеребрит
Миндаль.
И запах обретет вода
И плеск иной,
И я уеду, как всегда,
Весной.
И мы расстанемся, мой свет,
Моя любовь,
И встретимся с тобой иль нет
Вновь?

1919

ПОБЕДИТЕЛЬНИЦА

Снег, бездорожье, горячая пыль, суховей.
Минное поле, атака, свинцовая вьюга —
Все испытала, в походной шинели своей,
Ты, боевая подруга.
Ты уезжала с заводом своим на Урал.
Бросила дом свой, ни разу о нем не заплакав.
Женским рукам удивлялся горячий металл,
Но покорялся, однако.
Мы — победители. Пушечный грохот утих.
Минуло время тяжелой военной заботы.
Вспомнила ты, что, помимо профессий мужских,
Женщина прежде всего ты.
Мартовский солнечный день. Голубая капель

Точит под крышей себе ледяную лазейку.
В комнате тихо, светло. У стены — колыбель
Под белоснежной кисейкой.
Мягкую обнял подушечку сонный малыш.
Нежное солнце сквозит в золотых волосенках.
Руку поднявши, ты шепчешь: «Пожалуйста... тшшш,
Не разбудите ребенка».
1946

* * *

Лучи полудня тяжело пламенеют.
Вступаю в море, и в морской волне
Мои колена смугло розовеют,
Как яблоки в траве.
Дышу и растворяюсь в водном лоне,
Лежу на дне, как солнечный клубок,
И раковины алые ладоней
Врастают в неподатливый песок.
Дрожа и тая, проплывают челны.
Как сладостно морское бытие!
Как твердые и медленные волны
Качают тело легкое мое!
Так протекает дивный час купанья,
И ставшему холодным, как луна,
Плечу приятны теплые касанья
Нагретого полуднем полотна.
1919

* * *

Забыла все: глаза, походку, голос,
Улыбку перед сном;
Но все еще полна любовью, точно колос
 Зерном.

Но все еще клонюсь. Идущий мимо,
Пройди, уйди, не возвращайся вновь:
Еще сильна во мне, еще неодолима
 Любовь.

1919, Одесса

* * *

У первой мухи головокруженье
 От длительного сна:
Она лежала зиму без движенья,-
 Теперь весна.
Я говорю:- Сударыня, о небо,
 Как вы бледны!
Не дать ли вам варенья, или хлеба,
 Или воды?
- Благодарю, мне ничего не надо,-
 Она в ответ.-
Я не больна, я просто очень рада,
 Что вижу свет.
Как тяжело жить зимой на свете сиром,
 Как тяжело видеть сны,
Что мухи белые владеют миром,

А мы побеждены.
Но вы смеетесь надо мной? Не надо.-
А я в ответ!
- Я не смеюсь, я просто очень рада,
Что вижу свет.
1919

* * *

Надо мной любовь нависла тучей,
Помрачила дни,
Нежностью своей меня не мучай,
Лаской не томи.
Уходи, пускай слеза мешает
Поглядеть вослед.
Уходи, пускай душа не знает,
Был ты или нет.
Расставаясь, поцелую, плача,
Ясные глаза.
Пыль столбом завьется, не иначе
Как гроза.
Грянет гром. Зашепчет, как живая,
В поле рожь.
Где слеза, где капля дождевая -
Не поймешь.
Через час на ведро золотое
Выглянет сосед
И затопчет грубою стопою

Милый след.
1919



Николай Николаевич Асеев (10.07.1889-16.07.1963)

Родился Асеев в день этой нашей встречи...

Вот что он писал о себе:

Путь в поэзию

Городок был совсем крохотный - всего в три тысячи жителей, в огромном большинстве мещан и ремесленников. В иной крупной деревне народу больше. Да и жили-то в этом городишке как-то по-деревенски: домишки соломой крытые, бревенчатые, на задах огороды; по немощным улицам утром и вечером пыль столбом от бредущих стад на недалекий луг; размерная походка женщин с полными ведрами студеной воды на коромыслах. "Можно, тетенька, напиться?" И тетенька останавливается, наклоня коромысло.

Город жил коноплей. Густые заросли черно-зеленых мохнатых метелок на длинных ломких стеблях окружали город, как море. На выгоне располагались со своим нехитрым снаряжением свивальщики веревок; за воротами домов побогаче видны были бунты пеньки; орды трепачей, нанятых задешево бродячих людей, сплошь в пыли и кострике, расправляли, счесывали, трепали пеньку. Над городом стоял густой жирный запах конопляного масла - это шумела маслобойка, вращая решетчатое колесо. Казалось, что конопляным маслом смазаны и стриженные в кружок головы, и широкие расчесанные бороды степенных отцов города - почтенных старообрядцев, у которых на воротах домов блестел медный осьмиконечный крест. Город жил истовой, установленной жизнью.

Малый город, а старинный. Имя ему было Льгов; то ли от Олега, то ли от Ольги название свое вел; верно, был сначала Олегов или Ольгов, но со

временем укоротилось слово - проще стало Льговом звать... Вот так и стоял этот старозаветный город, стараясь жить по старине. Прямо на конопляники выходил он одним краем, и на самом краю, упираясь в чашу конопли, стоял одноэтажный домик в четыре комнаты, где в конце июня 1889 года родился автор этих строк. Не очень отличалось мое детство от жизни десятков соседских ребят, босиком бегавших по лужам после грозового дождя, собиравших "билетики" от дешевых конфет, обложек папирос и пивных ярлыков. Это были меновые знаки разного достоинства. Но действительными ценностями считались лодыжки - выжаренные и выбеленные на солнце кости от вареных свиных ножек, продававшиеся парами. Но покупать их находилось охотников мало. Главное - это была игра в лодыжки. Любили и другие игры. Например, поход в конопли, которые представлялись нам заколдованным лесом, где живут чудовища... Так жил мальчонка провинциального города, не барчук и не пролетарий, сын страхового агента и внук фантазера - деда по матери Николая Павловича Пинского, охотника и рыболова, уходившего на добычу на недели в окрестные леса и луга. О нем я написал впоследствии стихи. О нем и о бабке Варваре Степановне Пинской, круглолицей молодой старухе, не потерявшей с годами своего обаяния, голубизны своих доверчивых глаз, энергии своих вечно деятельных рук. Мать я помню плохо. Она заболела, когда мне было лет шесть, и к ней меня не пускали, так как опасались заразы. А когда я ее видел, она лежала всегда в жару, с красными пятнами на щеках, с лихорадочно сиявшими глазами. Помню, как возили ее в Крым. Меня взяли тоже. Бабушка не отходила от больной, а я был предоставлен самому себе. На этом кончается детство. Потом идет ученичество. Оно не было красочным. Средняя школа давно описана хорошими писателями. Разницы здесь немного. Разве что наш француз отличался париком, а немец - толщиной. Но

вот математик, он же и директор, запомнился тем, что преподавал геометрию, распевая теоремы, как арии. Оказывается, это было отголоском тех далеких времен, когда учебники еще писались стихами и азбуку учили хором нараспев.

И все же главным моим воспитателем был дед Николай Павлович. Это он мне рассказывал чудесные случаи из его охотничьих приключений, не уступавшие ничуть по выдумке Мюнхгаузену. Я слушал разинув рот, понимая, конечно, что этого не было, но все же могло произойти. Это был живой Свифт, живой Рабле, живой Робин Гуд. Правда, о них я тогда не знал еще ничего. Но язык рассказов был так своеобразен, присловья и прибаутки так цветисты, что не замечалось того, что, может быть, это и не иноземные образцы, а просто родня того Рудого Панька, который так же увлекался своими воображаемыми героями.

Отец играл меньшую роль в моем росте. Будучи страховым агентом, он все время колесил по уездам, редко бывая дома. Но одно утро я запомнил хорошо. Был какой-то праздник, чуть ли не наш именинный день. Мы с отцом собирались к заутрене. Встали раным-рано, сели на крылечке дожидать первого удара колокола к службе. И вот, сидя на этом деревянном крылечке, глядя через конопляник на соседнюю слободу, я вдруг понял, как прекрасен мир, как он велик и необычен. Дело в том, что только что взошедшее солнце вдруг превратилось в несколько солнц - явление в природе известное, но редкое. И я, увидав нечто такое, что было сродни рассказам деда, а оказалось правдой, как-то весь затрепетал от восторга. Сердце заколотилось быстро-быстро.

- Смотри, папа, смотри! Сколько солнц стало!

- Ну что ж из этого? Разве никогда не видал? Это - ложные солнца.

- Нет, не ложные, нет, не ложные, настоящие, я сам их вижу!

- Ну ладно, гляди, гляди!

Так я и не поверил отцу, а поверил в деда.

Учение кончилось, вернее оборвалось: уехав летом 1909 года в Москву, я скоро перезнакомился с молодежью литературного толка; а так как стихи я писал еще учеником, то и в Коммерческом институте мне было не до коммерции, и в Университете, куда я поступил вольнослушателем, - не до вольного слушания. Мы стали собираться в одном странном месте.

Литератор Н. Шебуев издавал журнал "Весна", где можно было печататься, но гонорара не полагалось. Там я познакомился со многими начинающими, из которых помню Вл. Лидина; из умерших - Н. Огнева, Ю. Анисимова. Но не знаю, каким именно образом случай свел меня с писателем С. Бобровым, через него с поэтом Борисом Пастернаком. Пастернак покорила меня всем: и внешностью, и стихами, и музыкой. Через Боброва я познакомился и с Валерием Брюсовым, Федором Сологубом и другими тогдашними крупными литераторами. Раза два бывал в "Обществе свободной эстетики", где все было любопытно и непохоже на обычное. Однако все эти впечатления первого знакомства заслонило вскоре иное. Это была встреча с Владимиром Маяковским. Здесь не место воспоминаниям: о Маяковском я написал особо. Но со времени встречи с ним изменилась вся моя судьба. Он стал одним из немногих самых близких мне людей; да и у него не раз прорывались мысли обо мне и в стихах и в прозе. Наши взаимоотношения стали не только знакомством, но и содружеством по работе. Маяковский всегда заботился о том, как я живу, что я пишу.

Возвращаясь несколько назад, хочу рассказать о первых своих шагах в литературе. Увлекаясь поэзией с малых лет, я обычно читал те стихи, которые помещались в сборниках, так называемых "Чтецах-декламаторах". Они издавались со множеством имен авторов, так или иначе известных в то

время. Публика привыкала к именам Башкина и Мазуркевича, поэтов мало прославившихся, но часто печатавшихся. Мне нравились в этих сборниках стихи А. К. Толстого, очень популярного тогда поэта-русофила, обращавшегося к темам Древней Руси, к славянским сюжетам. В его стихах воспевалась удаля и молодечество наших дедов, богатырские подвиги предков. В них, однако, по-своему трактовались и смешные стороны старинных дьяков и бояр, иногда прямо обличающие взяточничество и лихоимство; сквозь эти давние повадки просвечивало порой обличение современных поэту порядков. Легкие, плясовые ритмы стихов А. К. Толстого, их необычное содержание вызвали желание самому попробовать писать нечто похожее, веселое, буйное и задевающее. Так началась тяга к славянщине, к летописям, к истории слова. Немало сделало чтение гоголевского "Тараса Бульбы", "Страшной мести", навсегда ставших для меня образцами поэзии. Пушкина я воспринимал недостаточно чутко; Лермонтов казался мрачным и недоступным; да и Гоголь пленял пока еще только фантастичностью своих описаний. Все это относится к годам юности; однако нужно сказать, что именно тогда происходило становление моего литературного вкуса и понимания читаемого, хотя я по-прежнему декламировал самому себе строчки Мазуркевича о том, что: "Так солгать могла лишь мать, полна боязни, чтоб сын не дрогнул перед казнью!" Меня увлекало это придуманное и приукрашенное геройство, как нравится всем юношам преувеличенное и преумноженное чувство гражданского подвига. Другим характерным ощущением было расставание с понятием о боге. Уже сознавая, что божества всех времен созданы человеческой фантазией, я все еще не мог представить, что остается взамен от этого понятия. Бога нет,- это ясно; но что же есть? Человек,- это я вижу и знаю; но человек ведь смертен и, значит, преходящ, как все земное. А что же не преходит века и века? Ведь

должно же быть нечто, не уничтожаемое временем! Эти размышления и сомнения создавали те стихи, которые характерны для начала моего творчества. Это были богохульные, с точки зрения религии, произведения, но это все-таки были стихи о боге, и они могут вызвать недоумение у читателя. "Торжественно" (1915), "Объявление" (1915), "Скачки" (1916), "Откровение" (1916) и целый ряд других стихотворений свидетельствуют о борениях и сомнениях незрелого еще разума, но полного искреннего желания разобраться в неведомом.

К этому надо добавить славянские тексты летописей, проглатываемых мною, как белка проглатывает раскушенный орех, - а ведь в этих текстах были заложены основы поэзии. Так создавались стихи о запорожцах-ворагах ("Звенчал", 1914), о смерти Андрия Бульбы ("Песня Андрия", 1914), о старине и родине, расступавшейся перед мысленным взором необычайными просторами своих сказаний, вымыслов, преданий, подлинных событий. Так формировался вкус и симпатии.

Об этом я должен рассказать читателю, которому иначе не все будет ясно, особенно в некоторых стихах первого тома, моих ранних вещах. В них главным для меня был поиск своего стиха, своего способа высказаться. Отсюда - недомолвки и нелогические возгласы стиха, которому нащупывался путь в будущее. Мне хотелось своих слов, своих, неизбитых выражений чувств - и вот рождались и слова и отдельные сочетания их, непохожие на общепринятые: "леторей", "грозува", "шерешь", "сумрова", "сутьем", "порада", "сверкаты", "повага", "дивень", "лыба", - все слова из летописей и старинных сказок, которые хотелось обновить, чтобы наряду с привычными, обиходными - зазвучали они, забытые, но так сильно запоминаемые своими смысловыми оттенками. Так прошел первый период учебы у летописей, у

старинного говора орловско-курских речений, которыми в совершенстве владел мой дед.

Потом подошла империалистическая война. В 1915 году меня забрали в армию. Попав в полк, я в солдатской среде стал лицом к лицу с народным характером и настроением. Там не было "патриотов", да и самое слово-то было почти ругательным. К патриотизму призывали командиры среднего состава, обучавшие солдат, да генералы во время смотров. В самой же серошинельной массе это слово произносилось разве что издевательски. Почему так случилось? Во-первых, потому, что официальный язык газет и плакатов был чужд сердцам солдат; а во-вторых, потому, что и слова-то такого в обиходном разговоре не существовало. Царская война была непопулярна в народе, с фронта поступали известия о недостатке снарядов, обмундирования, продовольствия. Ходили слухи об измене среди высших чинов. Фамилия Мясоедова все чаще упоминалась в солдатском разговоре. Какие уж тут патриотические чувства! Империя готова была рушиться. Защищать ее охотников становилось все меньше. А понятия "родина", "отечество" связывались именно с царизмом, с дворянским и капиталистическим строем. Среди солдат отсутствовали героические настроения в защиту того, что явственно упало в своем бывшем величии. Видимо, поэтому и стало у меня в стихах появляться сознание этого "солдатского" настроения.

Меняем прицел небосвода
на сумерки: тысячу двадцать!
Не сердцу ль чудес разорваться
за линией черного года?

Так писал я тогда в стихотворении "Боевая сумрова" (1915), представляя будущее, которое придет в результате обстрела времени, в результате

разрушения черного года войны. Конечно, это было мало понятно даже и самому автору. Но солдатам как-то было доступно. Может быть, только потому, что в их среде нашелся поэт. А может быть, и потому, что сердцем они чувствовали гнев и ненависть к переживаемому и надежду на будущее, когда разорвется чудо грядущего дня. Но всего не объяснишь в прозе. Тогдашние стихи мои о войне, во всяком случае, не восхваляли ее.

Серп на ущербе притягивает моря,
и они взойдут на берег, шелками хлюпая.
Вот волн вам, их ропот покоряя,
привидится эскадра белотрубая.
Герб серба сорвала слишком грубая
рука. Время Европу расшвырять!

Это стихотворение называлось "Об 1915 годе". О чем оно? О предельной нелепице происходящего; о современниках, которым придется увидеть рушащиеся в огне здания, бесконечные бедствия войны, когда в моря выйдут эскадры изрыгать тяжелые снаряды, когда из-за ничтожного повода, спровоцированного на сербской земле, поднимется вся Европа, вовлекая в борьбу и нас, и Америку, и все народы. Читатель может спросить: но откуда же это все можно видеть в спотыкающихся от волнения, неразборчивых словах? Да, видеть этого, к сожалению, а вернее, к счастью, вновь нельзя. Но почувствовать тем сердечным волнением, которое пережил пишущий, мне кажется, можно. Если, разумеется, читатель внимателен к автору, к его усилиям передать неповторимое.

Война была в разгаре. В городе Мариуполе мы проходили обучение в запасном полку. Затем нас отправили в Гайсин, ближе к австрийскому фронту, чтобы сформировать в маршевые роты. Я подружился со многими солдатами, устраивал чтения, даже пытался организовать постановку сказки

Льва Толстого о трех братьях, за что сейчас же был посажен под арест. Из-под ареста я попал в госпиталь, так как заболел воспалением легких, осложнившимся вспышкой туберкулеза. Меня признали негодным к солдатчине и отпустили на поправку, а на следующий год переосвидетельствовали и вновь послали в полк. Там я прослужил до марта 1917 года, когда был избран в Совет солдатских депутатов от 34-го стрелкового полка. Начальство, видимо, решило избавиться от меня и дало направление в иркутскую школу прапорщиков. Февральская революция не прошла для нас даром. На фронт наш полк идти отказался, и я с командировкой в Иркутск отправился на восток. "...Серая солдатская шинель выучила и образовала",- писал я позже о тех днях. И не поехал я в школу прапорщиков, а сел с молоденькой женой в вагон и двинулся до Владивостока, наивно полагая поехать будущей зимой на Камчатку... Но первая мировая война шла к концу. Началась Октябрьская революция. В ней нам, молодежи тех лет, увиделась перемена всего, что до сих пор считалось незыблемым и неопровержимым. Как же было не задохнуться от счастья, не колотиться сердцу от того, что мечталось и ожидалось! И стихи о революции писались, как рапорт народу:

Была пора глухая,
была пора немая,
но цвел, благоухая,
рабочий праздник мая.

Это был мой "Первомайский гимн" - гимн новому. Хлебников еще в апреле 1917 года писал о том, что:

Мы, воины, строго ударим
Рукой по суровым щитам:
Да будет народ государем

Всегда, навсегда, здесь и там!

И вот теперь народ стал действительно государем своей судьбы. Все солдатские сердца отозвались бы на этот призыв. А солдатских сердец были миллионы. Именно солдатских, а не генеральских и адмиральских, не лиц высшего командного состава, лишившихся своих приварков и казенного довольствия.

По солдатской литературе проехал я всю Сибирь и докатил до самого океана. И тут, на Дальнем Востоке, куда я добрался к осени 1917 года, уже начинается писание стихов, не требующих разъяснений и уточнений. Хотя и в них встречаются вещи, не совсем совпадающие с обычным представлением о стихосложении. Остались следы поисков и звука и смысла, по-своему оощущенного и высказанного. А без этого и нету никакого творчества. Если все уже известно и слышано, то какая же новость в поэзии! Об этом отличии стиха от прозы замечательно сказал свыше ста лет тому назад великий русский свободный ум - А. И. Герцен:

"Досадно, что я не пишу стихов,- говорил он в повести "Поврежденный" (1851), описывая природу средиземноморского побережья.- Речи об этом крае необходим ритм, так, как он необходим морю, которое мерными стопами во веки нескончаемых гексаметров плещет в пышный карниз Италии. Стихами легко рассказывается именно то, чего не уловишь прозой... Едва очерченная и замеченная форма, чуть слышный звук, не совсем пробужденное чувство, еще не мысль... В прозе просто совестно повторять этот лепет сердца и шепот фантазии".

Так понимают чуткие умы лучших людей поэзию. У них мы учились и будем учиться.

Приехав во Владивосток, я пошел в Совет рабочих и солдатских депутатов, где получил назначение помощника заведующего биржей труда. Что это

было за заведование - вспомнить стыдно: не знающий ни местных условий, ни вновь нарождавшихся законов, я путался и кружился в толпах солдатских жен, матерей, сестер, в среде шахтеров, матросов, грузчиков порта. Но как-то все же справлялся, хотя не знаю до сих пор, что это была за деятельность. Выручила меня поездка на угольные копи. Там я раскрыл попытку владельца копей прекратить выработку, создав искусственный взрыв в шахте. Вернулся во Владивосток уже уверенным в себе человеком. Начал работать в местной газете, вначале литсотрудником, а в дальнейшем, при интервентах, даже редактором "для отсидки" - была такая должность. Но взамен я получил право печатать стихи Маяковского, Каменского, Незнамова. Когда приехал во Владивосток Сергей Третьяков, нами был организован маленький театрик - подвал, где мы собирали местную молодежь, репетировали пьесы, устраивали конкурсы стихов. Но вскоре эти затеи приостановились. Началась интервенция, газета подвергалась репрессиям, оставаться, хотя бы и номинальным редактором, было небезопасно. Мы с женой переселились из города на 26-ю версту, жили не прописавшись, а затем получили возможность выехать из белогвардейских тисков в Читу, бывшую тогда столицей ДВР - Дальневосточной республики.

Оттуда при содействии А. В. Луначарского я был вызван в Москву как молодой писатель. Здесь и возобновилось мое прерванное на ряд лет знакомство с Маяковским. Он знал, что на Дальнем Востоке я читал его "Мистерию-буфф" рабочим Владивостокских временных мастерских, знал, что печатал отрывки из "Человека" в газете, что читал лекции о новой поэзии во Владивостоке, - и сразу принял меня как родного. Затем началась работа в Лефе, в газетах, в издательствах, которую опять-таки возглавлял Маяковский, неотступно, как пароход баржу, буксируя меня всюду с собою. Я объездил с

ним города Союза - Тулу, Харьков, Киев; совместно с ним выпустил несколько агитационных брошюр.

Неизменная товарищеская заботливость со стороны Владимира Владимировича продолжалась до конца его жизни. Благодаря ему было издано много моих книг. Позже я написал о нем поэму, чтобы хоть отчасти восполнить свой долг перед ним. Без него мне стало труднее. И, несмотря на знаки внимания со стороны товарищей по литературе, я так никогда и не оправился от этой потери. Это невосвратимо и неповторимо. На этом, собственно, и заканчивается моя автобиография. Все остальное лишь варианты главного.

ИЮНЬ

Что выдělывают птицы!

Сотни радостных рулад,

эхо по лесу катится,

ели ухом шевелят...

Так и этак, так и этак

голос пробует певец:

«Цици-вити»,— между веток.

«Тъори-фъори»,— под конец.

Я и сам в зеленой клетке,

не роскошен мой уют,

но зато мне сосны ветки

словно руки подают.

В небе — гром наперекат!..

С небом, видимо, не шутки:

реактивные свистят,

крыльями кося, как утки.

1953

ДВОЕ ИДУТ

Кружится, мчится Земшар —

в зоне огня.

Возле меня бег пар,

возле меня,

возле меня блеск глаз,

губ зов,

жизнь начинается свой сказ

с азов.

Двое идут — шаг в шаг,

дух в дух;

трепет в сердцах, лепет в ушах

их двух.

Этот мальчонка был год назад

безус;

нынче глаза его жаром горят

безумств.

Эта девчурка играла вчера

с мячом;

нынче плечо ей равнять пора

с плечом.

Первый снежок, первый дружок

двойник.

Как он взглянул — будто ожог

проник!
Снег, а вокруг них — соловьи,
перепела;
пальцы его в пальцы свои
переплела.
Стелят не сумерки, а васильки
им путь,
и не снежинки, а мотыльки —
на грудь.
«Не зазнобила бы без привычки
ты рук!»
Их, согревая без рукавички,
сжал друг.
«Ну и тихоня, ну и чудила,
тем — люб!
Как бы с тобою не застудила
я губ!»
Кружится, вьется Земшар,
все изменя.
Возле меня щек жар,
возле меня,
возле меня блеск глаз
губ зов,
жизнь повторяет давний рассказ
с азов!
1950

НАДЕЖДА

Насилье родит насилье,
и ложь умножает ложь;
когда нас берут за горло,
естественно взяться за нож.
Но нож объявлять святыней
и, взглядываясь в лезвие,
начать находить отныне
лишь в нем отражение свое, —
нет, этого я не сумею,
и этого я не смогу:
от ярости онемею,
но в ярости не солгу!
Убийство зовет убийство,
но нечего утверждать,
что резаться и рубиться —
великая благодать.
У всех, увлеченных боем,
надежда горит в любом:
мы руки от крови отмоем,
и грязь с лица отскребем,
и станем людьми, как прежде,
не в ярости до кости!
И этой одной надежде
на смертный рубеж вести.

1943

РЕШЕНИЕ

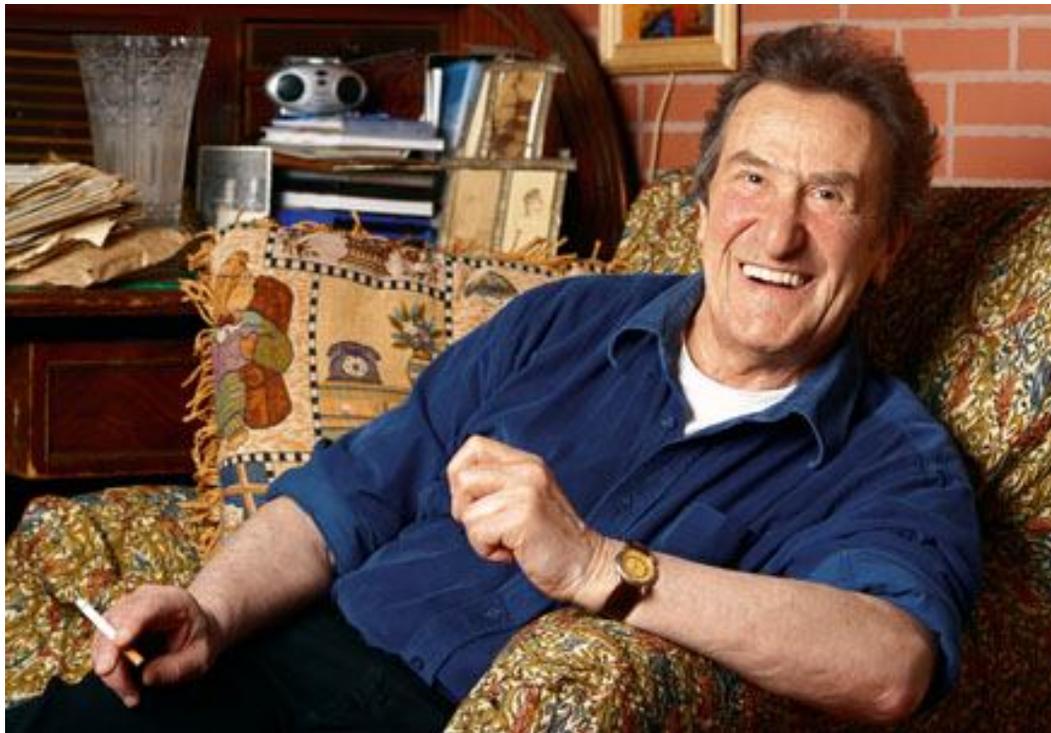
Я твердо знаю: умереть не страшно!
Ну что ж — упал, замолк и охладел.
Была бы только жизнь твоя украшена
сиянием каких-то добрых дел.
Лишь доживи до этого спокойства
и стань доволен долей небольшой —
чтобы и ум, и плоть твоя, и кости
пришли навек в согласие с душой;
Чтобы тебя не вялость, не усталость
к последнему порогу привели
и чтобы после от тебя осталась
не только горсть ископанной земли.
И это непреложное решенье,
что с каждым часом глубже и ясней,
я оставляю людям в утешенье.
Хорошим людям. Лучшим людям дней!
1960

ЗЕРНО СЛОВ

От скольких людей я завишу:
от тех, кто посеял зерно,
от тех, кто чинил мою крышу,
кто вставил мне стекла в окно;
Кто сшил и скроил мне одежду,
кто прочно стачал сапоги,
кто в сердце вселил мне надежду,

что нас не осият враги;
Кто ввел ко мне в комнату провод,
снабдил меня свежей водой,
кто молвил мне доброе слово,
когда еще был молодой.
О, как я от множеств зависим
призывов, сигналов, звонков,
доставки газеты и писем,
рабочих у сотен станков;
От слесаря, от монтера,
их силы, их речи родной,
от лучшего в мире мотора,
что движется в клетке грудной.
А что я собой представляю?
Не сею, не жну, не пашу —
по улицам праздно гуляю
да разве стихи напишу...
Но доброе зреет зерно в них
тяжелою красотой —
не чертополох, не терновник,
не дикий осот густой.
Нагреется калорифер,
осветится кабинет,
и жаром наполнятся рифмы,
и звуком становится свет.
А ты средь обычного шума
большой суеты мировой

к стихам присмотришь и подумай,
реши: «Это стоит того!»
1960



Губерман Игорь. Родился 07.07.1936

День его рождения за три дня до этой нашей встречи.
О нём прочёл и гарики его!!!

Михаил Юдсон. Река Проза, или Другой берег Губермана

О книге “Вечерний звон” и возле

“Я не променял бы эту книгу даже на пару красных одеял”.

О. Генри. Справочник Гименея

Вестимо, славен Губерман. Воистину так. Он издаваем, читаем и часто цитируем. Его строчки спонтанно возникают в устной речи, а порой — даже на этикетках водочных бутылок (что может быть чудесней для русскочитающего индивидуума!), словно некий знак дворянства, как марк-твеновская карикатура в “Панче”. В стихии русского стиха, в его снегах и завываньях Губерману тепло и домашне: он проторил тропу к своей берлоге, нашел свою нишу — создал “гарики”. Четыре ступеньки вниз — и верх взят! Ирония, сарказм, афористичность, многосмысленность при внешней доступности, легкости заглатыванья делают “гарики” всенародной радостью (думаю, что их скоро начнут петь под струнный инструмент), причем каждый — от запойных читателей до абстинентов стиха — видит, слышит, чувствует в них свое — кому чего отпущено. В этом смысле Губерман — национальный поэт (как говорил довлатовский герой, русской еврейской нации). Стада подражателей пытаются пастись на его лугах, но эпигонские горе-“гарики” без сока и смака, и смальта слов бесцветна, и мозаика не выкладывается... Хотя дело, конечно, зело заразительное, хочу предостеречь: пия душистый сок цветочка, мир исцеляется от ран, коль пишешь лишь в четыре строчки, то ты еще не Губерман. По близким ему дорогам хаживал, пожалуй, Александр Гликберг (он же — Саша Черный) еще в Серебряном веке — этакая чернь с серебром, смесь быта и Бытия... Но остановимся, ибо “гарик” есть вещь в

себе, он неисчерпаем, аки атом. “Чуть о нем попозже”, как выражается сам Игорь Миронович. Да, да, во благовремение — пространно, с гурманством комментариев, лелея схолии... А сейчас на дворе ночь, и в моей тель-авивской келье (приют аскета, навестите, музы) наконец тишь, лишь потрескивает семисвечник, и на столешнице ждет свежая книга Губермана “Вечерний звон” — приятный упитанный том, и во многия его страничной мудрости, поверьте, — многия радости. Пришла пора поговорить про прозу. Точнее, научнее сказать — за прозу. Тем, кто лазал, пробирался прозой поэтов — белым коридором петербургских зим — понравится это повествование, этот странный мемуарно-философский роман в рассказах (а также в новеллах, эссе и лирических отступлениях). Проза Губермана всегда напоминала мне веселую, стремительную, иногда яростную реку. Она плещет, звенит, струится — от тихих заводей странствующего интеллектуала до общенных, матерных перекатов ссыльного поселенца. “Прогулки вокруг барака”, “Штрихи к портрету”, “Пожилые записки”, “Книга странствий”, нынешний “Вечерний звон” суть притоки этой реки по имени Проза (чуть особняком, хижинами дяди Тома — “негритянские” тома о Морозове, Бехтерева, Огареве). На поверхности, пленкой, первоплавающий слой — как бы плавный отчет остроумного, врожденно талантливого, благоприобретенно мудрого человека о своем движении в пространстве-времени и “в людях” (жуткое горьковское выражение). Но если легонько поскрести, хотя бы и затылок, то сразу обнаруживается, что роман-то — палимпсест и проступают — пластами — подтексты, успевай усваивать. Потому как грех, на хрен, “гонять порожняк” — это Губерман о прозе без послания, без откровения, без благой вести (сравните — “Грохочущие мимо литературные порожняки”, — жаловался всю дорогу бедный Сигизмунд Кржижановский). Несомненно, письменная речь — речна. Глубокая, она

течет мощно и вольно. Да не всякому, увы, даны бездны. Часто имеем заключенный в обложку бездарный подневольный труд каналармейца. У Губермана же, куда ни ткни, ткань текста живая и светится — обитающие в его прозе микроорганизмы фосфоресцируют — блеск плюс плеск слововолны! А какова вталкивающая сила — не оторваться! Помню, прочитал залпом “Прогулки вокруг барака” — скромное издание времен развала Союза, на серой бумаге — сидя на зимней скамейке в своем волжском граде (а чего домой топать — там столько же градусов), над застывшей ледяной Рекой, восхищенно шмыгая обмороженным носом — во, книжка! В Израиле уже, малешко прозрев, я доник, что “Прогулки вокруг барака” — нечто вроде “жизни с молнией”, хождение души по мукам и радостям, свод притч, эдакая “Мишна на Севере” (и от обратного, “Мишна” — это “гарики” цадиков). Окуджава отозвался о “Прогулках” — “элегическая исповедальность”. И верно — элегия. Сквозь тюремную муть и отчаяние размеренно и чуть печально сочится радость бытия. Языческая, Ярилова радость произрастания (а поэзия его — та же добыча Ра). Энергичность, как говаривали конструктивисты, текстов Губермана — солнечна. Фонтанирующая лучами, фотонная проза. Печаль — и та светла. Читая, окунаясь, впитывая, ты вырабатываешь юдохлорофилл, нечувствительно выращиваешь в себе лозы не зеленого, но бело-голубого, доброго, вечного. Чудесного, как “стаканчик виски”, который у Игоря Мироновича всегда полон и ждет прихода нас. О, бело-голубой змий! Если ранние “Прогулки вокруг барака” — это дневник узника, упорное николай-морозовское двуперстие: “Писать, писать!”, то поздняя проза — это Улиссово раздолье: двигаться, смотреть, рассказывать — мир распахнут — и плавать по морю, летать по небу и бродить посуху — совершенно необходимо. Губерман, как щедрая губка, выжимает на нас звуки, запахи, цвета, шумы и ярость мира. Да, объясняет он, мир — абсурден

и одновременно детерминирован, но мы не пешки в клетке. Существуют, хотя бы теоретически, свобода и воля. Доступно путешествие на край доски. Опять же — ирония лечит (если еще не все отвалилось). Помнится, у Джойса еврей Блум подробно, плотноядно и с наслаждением жарит свиную почку. Очень на меня подействовало — теперь почек не ем. Кстати, в “Вечернем звоне”, как и в “Улиссе”, восемнадцать (с преди- и послесловием) глав — сакральное, нашенское число. Гематрия слова “жизнь”. И герой книги — его зовут “Я” — находится в постоянном броуновско-блумовском движении, хотя и неизменно возвращается, к счастью, к родным берегам, в точку исхода (не путать с вершиной пирамиды). Это присущий прозе Губермана “эффект бумеранга” — все возвращается на круги, где кружки, друзья и подруги. И книжки... “Много еще хочется прочесть и выпить”, — вздыхает Игорь Миронович. В его текстах любимое мной сочетание прожитого и прочитанного, коктейль Борхеса — “то, что мы называем творчеством, на самом деле смесь забвения и воспоминаний о том, что мы прочитали”. Описываемый, выстраиваемый им мир отнюдь не бережно подстриженный газон, а лохматый луг, луг в мае, по которому ходят женщины-иконы, да-с, читатель-поручик, в книгах Губермана женщины светлы, веселы, разумны и текут молоком и медом (“Нет, не переписываться они хотят!” — воскликнула бы жена Тата). Способ собственно же письма прост, как Прустов куст — почкование, цветение, разбегание ветвящихся ассоциаций — на просвет эта проза напоминает разноцветную формулу ДНК. Отчасти “Вечерний звон” — эссеистика хорошей выделки, самовитое музильянство в главах о человекосвойствах, и всюду — музыка, разлитая по фразам, внутренний гул книги. Игорь Миронович мыслит притчево и пишет ритмически. Вот — навскидку — подряд, соструганное с одной страницы: “...и постепенно в ужас приходил... мне предстояло повесть сочинить... я одолел

свой страх и стал писать... писал о том, что понимал и ощущал...” Дивное книжное Беловодье, белостишье и, лагерными местами, вполне по Галичу — Беловошье! Обычно, мча по тексту, быстро устаешь от однообразия рельефа: кругом вода, водица, “а мысли — не бурлят они уже, а вяло шелохаются, как усталые и снулые раки”. А Губерман сроду в бурунах, он всегда нов, как морской змей, и берега его книг цветущи, причудливы и правдивы вымыслом. “Описаны события, которые со мной случались или же могли случиться”, — честно предупреждает автор. На меня совершенно ошеломляюще подействовал рассказ, как народоволец Морозов в тюрьме читал стихи соседним камерам сквозь канализацию, склонившись в унитаз, — образ поразительный, символ. “Дивная история”, как любит приговаривать Губерман. Я думаю, он это придумал. Или — про себя. Чтение — это все же сладкая ловля ветра, поди пойми, что там шуршит в камышах строк, что на самом деле хотел высказать пишущий, имманентные его экивоки и помыслы. Много ли удастся, по выражению Ходасевича, “наблести правильно” — Бог весть... Один писавший о “Вечернем звоне” добрый человек (св. Простота) обмолвился, что, мол, Губерман замечательно рассказывает занимательные истории. Что-то такое. Эх, кандидушка, хмыкну я умудренно, да ведь и “Замок”, скажем, занимательная история землемера К., и “Процесс” — очень занимательное дельце господина К. Примерно тем же макаром и “Я” в прозе Губермана — это персонаж, Кижэ (“фигуры не имеет”), а далеко и вовсе не живущий в Иерусалиме реальный, можно потрогать, Игорь Миронович Губерман, книжник и поэт. В его сочинениях сквозит изощренная стилизация, творится лепка дневника. Многобайтовость, насыщенность якобы баек. Это проза очень непростая, пластичная, плотская (некий нектар холодной водки с амброзией соленого груздя) — она просмолена тьмою проглоченных книг, пропитана их светом, текст

инкрустирован доспассовскими вставками “извне” — заметки и обрывки из зала и со стен. Коли моя исколотая нарзаном память не изменяет, то, кажется, вроде Малларме мечтал сконструировать такую книгу, чтобы можно было читать с начала и конца, с любой страницы, чтобы проза извивалась, “как кольца змеи” (потом Павич опробовал это в своем “Словаре”, назвав “нелинейным письмом”). Поздняя проза Губермана структурно, ежели под мелкоскопом, сложена из множества жизнеспособных клеток (можно даже хвост оторвать) — она читается Отовсюду (и географически тоже). Проза — пазл. Попав к нему на любую страницу, двигаясь по ее тропам, ты везде, очарованный странник, находишь искомый уют, тебя, буратинку, ждет уютный огонь в очаге, лакомая чарка с интеллектуального устатку и приветливый собеседник — этакий попавший “на химию” персонаж Джерома Джерома, джентльмен в ватнике: “Присядьте, я расскажу вам одну историю...” У Губермана есть хорошее выражение (речь идет о периоде, когда он сибаритствовал в Сибири, в курной избе, и были там краски удивительные): “Если бы Куинджи попал к нам „на химию“...” Мне очень это понравилось, и я повадился вставлять, представляя: “Если бы имярек попал „на химию“”. Кстати, о ссылке, тюрьме, вообще лагерной прозодежде книг Игоря Мироновича хочется тоже вякнуть, вставить свои пять копеек (да уж не лет!). Для Шаламова с его кошмарно однотонным шаманством, камланьем, вбиваемым в мозг, как ледяное кайло, лагерь — это ад. По Солженицыну лагерь — это опыт (“матерьальчику!”), напряженное, из рвущихся жил выживание, робинзонада. “Один день Ивана Денисовича” — это голый человек на голой заснеженной земле, лишь звук плывет: “дин-день”, ван-ден” — звон рельса на морозе. У Губермана лагерь — это быт. Жисть-жестянка. Книжки Бытия. Его лагерный мир с его кругами, Рвами и Злыми Щелями — абсурдный, опрокинутый, как стопка, — не чудовищен. По

Губерману ада как такового нет (это утешает), есть общее пространство — Ад Эден — с закоулочками судьбы. А все дело в людях — “повсюдное двуногое”, как он их ласково называет, — которые водятся, роятся вокруг в согласии с Сартром (“ад — это другие”), и надо в набитой камере вставать до петухов, назаретно — чтобы писать, писать... “Сгнил на зоне” — печальные слова Губермана о сломавшихся душах. Напоминают мне оне об Овидии (Назоне!) и его посланиях из ссылки, столь же ледяной и дикой: “Здесь я варвар затем, что никому не понятен...” Довлатов, показавший нам лагерь с вышки, осовелыми глазами вохра, выдохнул: “Ад — это мы сами”. “Да ну, заладили: ад, ад, — успокаивает нас Губерман. — Я там был и видел — нет его. Всюду жизнь”. И пишет:

"Когда я срок мой подневольный
Тянул по снегу в чистом поле,
То был ли счастлив мой конвойный,
Который жил на вольной воле?"

По мне, так этот “гарик” — о жизни нашей преходящей и о Четырехбуквенном (не “вохр”) Смотрящем нашем. Когда бредешь лабиринтовой, словно гоби городов по Вальтеру Беньямину, каменистой, как Стоунхендж, ежедневной постылой пустыней вялотекущего существования, то рад чуду, когда на тебя губерманно падает пища мысли, иронии, надежды, придавая силы — в борьбе за огонь, и воли — в обретении воли (думаю, Губерману об этом часто пишут читающие, спасибо говорят). “Свободен!” — этот крик, кредо, лозунг Мастера звенит по всей его прозе — вечерний (дум, дум!) звон. Да, да — свечение текста, ибо слово для Губермана Иоанново самоценно, самоцветно, радужно. Ежели б Ремизов вслед за Куинджи попал “на химию”, эх, эх... Губерман пожизненно на “алхимии слова”. Губерманствуя, пробуя слова на соль, он, гурман, хлебосольно объясняет нам ценность обсценного,

чимес послания по матушке. “Энергичное стило”, как балакал Буало. А про евреев яро как (сам раскололся — айдолопоклонник)! Цитирую: “Кошмарная модель историка Дубнова: ни разумом, ни глазом не охватное гигантское консервативное ядро всемирного еврейства дьявольски загадочно пульсирует, выбрасывая в беззащитный мир активные свои частицы с длинными носами”. А как здорово о еврейских дураках, кои скитаются по свету (так карма легла), подрывая корни нашей древней кроманьонской избранности! Да чего стоит один, живущий под мостом, огнедышащий еврей из иранского эпоса (если не сам Игорь Миронович его придумал)! Но по мере распития книги, ко дну ее, коньячок иронии убывает, и последняя глава — “Сезон облетевшей листвы” — покрыта патиной памяти, словно Саргасова зелень окутала светлый Мир Реки: куда сплавляемся, куда втекаем, в какой и кем придуманный Солярис?.. Здесь мягкое сожаление по шагреново сжимающейся жизни, по “пропустово” утраченному времени, легкая тоска по дивной молодости, “когда выпивку закусывали мы весенним ветром”. Жизнь коротка, вздохнем вслед, но прекрасна, а наростая короста — это понарошку. Грустная мудрость Губермана. “Глухая пора, батенька, — разводит он руками. — Время катится к закату, и жена уже пошла советоваться с курицей насчет обеда”. Надо понимать — к “гарикам” клонит! И точно — мы причаливаем к пристани этой прозы — пристальной, чуть печальной — и движемся по сходням послесловных, ступенчатых страниц — там стихи Игоря Мироновича. У О. Генри есть новелла, как два рудокопа застряли в занесенной снегом хижине и нашли там книжку Омара Хайяма, и один говорит другому: “Это стихотворная книга. Сначала я не мог понять, в чем тут соль, но покопался и вижу, что жила есть”. “Гарики” генно сродни О. Генри: последняя строчка, уходя, включает свет. Отворяет жилу. “Распирающее душу удовольствие от жизни”, — пишет Губерман. Тут очень

важно: не брюхо распирается, а душа! Это знаковое слово в данных “гариках”: “душе так интересно было здесь”, “теперь душа моя пуста”, “душа полна укромными углами”, “душе моей пора домой” и многое, многое иное (так заканчивается одна книжка под названием “Ада”). В четырех строках “гариков” обитает вся набоковская троица: история, магия, поучение. Губерман, рассказывая и околдовывая, подспудно, но неустанно проповедует, внушает нам: думайте, думайте, в том числе о душе, шевелите извилинами, ресничками и ложноножками! Так будем же и дальше еще больше стараться, раскидывать мозгами и “почесывать бумагу пером”, как учит Игорь Миронович. Доброе дело. Напослед — рожденный в трудах “панегарик”:

"Когда и даль, и близь туманна,
Не лезьте в Даля иль в трактат —
С утра читайте Губермана,
Слегка раскачиваясь в такт".

* * *

Кофейным запахом пригреты,
всегда со мной теперь с утра
сидят до первой сигареты
две дуры – вялость и хандра.

* * *

Бывает – проснёшься, как птица,
крылатой пружиной на взводе,
и хочется жить и трудиться;

но к завтраку это проходит.

* * *

В жизненной коллизии любой
жалостью не суживая веки,
трудно, наблюдая за собой,
думать хорошо о человеке.

* * *

Мы делим время и наличность,
мы делим водку, хлеб, ночлег,
но чем отчётливее личность,
тем одиноче человек.

* * *

Будущее – вкус не портит мне,
мне дрожать за будущее лень;
думать каждый день о чёрном дне
– значит делать чёрным каждый день.



Шапиро Савелий принёс газету, где был этот гарик:
«За все на евреев найдется судья.
За живость. За ум. За сутулость.
За то, что еврейка стреляла в вождя.
За то, что она промахнулась «



Григорий Авербух прочёл свои стихотворения:

«Ах у Инбер ах у Инбер»

«Об одиночестве»

«Гляжу на закатное солнце»

«В шесть утра у ханута»

«Суламифь»